

Иван Иванович Лажечников

## Несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи 'Материалы для биографии А П Ермолова'

В очерке Лажечникова, посвященном Отечественной войне, в центре внимания — заграничные походы русской армии 1813-1815 годов. Картина разрушенного, заваленного трупами Вильнюса, изнурительное преследование отступающей французской армии, отношения русских воинов с местным населением, офицерские беседы на бивуаках — все это в значительной мере обогащает наше представление о заключительном периоде войны. На переднем плане этой пестрой картины — портреты генералов 12-го года: Н.Н.Раевского, А.П.Ермолова, А.И.Остермана-Толстого.

*И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989*

*Примечания Н.Г.Ильинская*

*Впервые напечатано: Русский вестник. 1864. № 1.*

**Иван Иванович Лажечников  
Несколько заметок и  
воспоминаний по поводу  
статьи «Материалы для  
биографии А.П.Ермолова»**

**В** «Русском Вестнике» помещен ряд статей М.П.Погодина[1]: «Материалы для биографии А.П.Ермолова» — драгоценные материалы, за которые нельзя не поблагодарить почтенного их собирателя. Читая их, переношишься мыслию и сердцем в великую эпоху 1812-1815 годов, этот «век богатырей», как называл его наш знаменитый партизан и поэт Давыдов. Из плеяды личностей, блиставших в эту дивную эпоху, ярко выступает А.П.Ермолов. Да, природа редко создает таких мужей, в которых богатырская наружность соединилась бы с такими богатырскими силами ума и духа, какими он был наделен. Присоедините к этому дар слова, дар обворожать своим обращением всех, кто к нему приближался, и особенно своих подчиненных «боевых товарищей», как он их называл. «Подчиненных» — сказал я потому, что с высшими он не умел ладить, вследствие ли своего характера, с которым знакомят нас статья Погодина и собственные записки Ермолова[2] (к сожалению, написанные латинским строем), или вследствие того, что его пронизательный ум быстро замечал чужие ошибки и недостатки,

скрывать которые он не считал нужным, или вследствие врожденной его склонности к сарказму, для успеха которого он пренебрегал иногда благоразумием. Во всяком случае, можно сказать, что в его благородной натуре не было умения подлаживаться.

Я сказал, что Ермолов имел дар особенно привлекать своих подчиненных. Только одного современного ему, также знаменитого генерала, знал я с подобным даром — это был Н.Н.Раевский. Но у этого он выливался безрасчетно, от душевной доброты, а у Ермолова, может быть, и от расчетов ума. Алексей Петрович выигрывал в этом отношении еще своим остроумием. Известно, что его острооты электрически расходились по армии и приобретали ему немало жарких почитателей, особенно среди молодежи, но немало и непримиримых врагов между теми, на кого были устремлены. Раевский терял еще и тем, что, по расстройству слухового органа, не мог надлежащим образом поддерживать разговор.

В должности адъютанта генерала Полуектова[3], которого Ермолов любил за его умную, приятную беседу, часто приправленную,

с грехом пополам, красным словцом, я имел счастье служить под начальством Алексея Петровича во время походов 1814 и 15 годов, когда он командовал гренадерским корпусом, и часто видел его в офицерском кругу. Здесь-то, душою весь нараспашку, он очаровывал своих сослуживцев простотой и любезностью обращения; здесь не было чинов, и офицеры, забывая их, никогда, однако ж, не забывали, что находятся перед Ермоловым, к которому привыкли питать глубокое уважение, благоговейную любовь и преданность.

Армия наша была только в нескольких лье от Парижа. Расположась в какой-то крестьянской избушке на ночлег, закусив чем попало и завернувшись в походную шинель, я только что хотел предаться сну, как услышал зловеший сбор. «Что за притча?» — подумал я. Уж не сделал ли неприятель нечаянного нападения на нас? Не сыграл ли Наполеон одну из своих смелых стратегических штук, которыми изумлял нас в пароксизмах своего гения после Бриеннского дела? Так, он отхватил целый отряд наш, покоившийся в объятиях обломовщины, с генералами<sup>(1)</sup>, пушками и зна-

менами, выставленными потом в торжественной процессии на потеху парижан. Но нас успокоивала мысль, что с нами целая армия, что в среде ее сам государь и блюдет ее своими зоркими очами. На этот раз мы узнали, что Наполеон очутился позади нашей армии, чтоб оттянуть ее от Парижа к Рейну. В первые часы тревоги, произведенной этим отчаянным маневром, нам велено было отступить. Но это движение продолжалось только несколько дней. Скоро в военном ареопаге, благодаря совету князя П.М.Волконского и энергической воле государя, решено было не поддаваться на удочку, закинутую ловким рыбаком, а идти твердо, всеми силами, на столицу Франции. Ему оставлен на приманку немногочисленный отряд, который своими усиленными бивуачными огнями должен был представить декорацию большого корпуса, готового дать неприятелю сражение. Пока происходили в главной квартире совещания и сделаны распоряжения, мы ночью шли скорым маршем на попятную. Что это за смутная, тяжелая ночь была! Солдаты, не успевшие отдохнуть от дневного похода, падали

полусонные в сомкнутых колоннах, офицеры, будто опьянелые, ныряли на своих лошадях.

Солдатам вообще на походе надоедали экипажи сановников, особенно не боевых, для которых надо было расступаться целым колоннам корпусов. При этом происходили смешные вещи. Например: едет маркитант главной квартиры, а командир гвардейского корпуса Лавров, не расслышав хорошо, командует: «раздайся! адъютант главной квартиры!» И колонны раздаются, сопровождая хохотом маркитанта в его торжественной колеснице. Надо прибавить, что к лишению сна примешивалось неудовольствие на отступление, которого не любит русский солдат. Известно, каким тяжелым, незаслуженным укором пало оно на голову великого полководца [4], который перед русским людом виноват был только в том, что носил немецкую фамилию и не хотел драться во что бы ни стало, а перед некоторыми насмешниками в том, что нечисто изъяснялся по-французски. Вот мы и плетемся в сумраке ночи по большой дороге опять к Труа. Что до меня, отъедешь несколько десятков сажен вперед колонны своего

корпуса, слезешь с лошади, присядешь близ дороги, крепко обхватив поводья, и погрузишься в судорожную дремоту. Дремлешь, а чуткое ухо настороже. Услышишь, что шум шагов слабеет, встрепенешься... идет арьергард. Опять на коня, и опять принимаешься за тот же маневр. Отошли мы несколько лье назад и стали на обетованные бивуаки. Какие-то огромные сараи промелькнули в глазах, и через пять, десять минут их не стало. Они пошли на дрова. Таковы неминуемые следствия войны. Между тем, в русской армии соблюдалась строжайшая дисциплина; за мародерство в неприятельской земле солдат примерно наказывался. Под Бриенном при мне расстреляны были за неважное похищение собственности у крестьянина — артиллерист и казак. Помню, как у солдат, отряженных от каждого полка армии, неустрашимых в делах с неприятелями, дрожали руки, когда они стреляли в своего товарища, за несколько часов стоявшего в их рядах.

.....

Тут же расстрелян был и мэр, за возбуждение крестьян своей деревни к какому-то пар-

тизанскому нападению на наших, которое не удалось, но могло бы иметь для нас дурные последствия, послужив опасным примером для других подобных проявлений. До сих пор слышу раздирающие душу слова, произнесенные им, когда наш русский священник напутствовал его в жизнь вечную: «Ma pauvre femme, mes pauvres enfants!»<sup>{2}</sup>

.....

Вообще, прибавлю кстати, народная война во Франции, по тогдашнему настроению французов и, как я сказал, вследствие строгой дисциплины в русском войске, не имела малейшего успеха, несмотря на желание Наполеона затеять ее. Нам случалось в одиночку ехать по глухим местам и сталкиваться с толпою рабочих, и никто нас не только что не тронул, но даже не оскорбил словом. Дрались армии, народ был в стороне. Противопоставьте нашествие французов на русскую землю в двенадцатом году. Не мстили мы теперь за тогдашние оскорбления их, не ставили конюшен в церквах, не предавались грабежу. До чего личность каждого мирного гражданина была уважаема, приведу один случай из мно-

гих подобных, прося извинения у моих читателей, что отвлекаюсь беспрестанно от главного предмета моей статьи. Мы остановились в какой-то французской деревне под Ножа-ном на ночлег. Капитану нашего полка отвели вместе со мною квартиру. В одной из комнат стояла постель под ситцевым пологом, с мягкою периной, чистым бельем и одеялом.

— Славно же я послужу нынешнюю ночь Храповицкому, — сказал капитан, и раздевался уже, чтобы возлечь на привлекательном ложе, как вошел хозяин дома, крестьянин, и, разгорячившись, объявил, что на этой постели спит обыкновенно его мать старушка, и он не позволит никому лечь на ней. Русский варвар крякнул только и приказал устроить себе постель из соломы на полу. Спрашиваю, сделал ли бы это неприятель-француз в России?

Возвращаюсь к главному предмету моего рассказа.

Зажглись на бивуаке бесконечные костры, и среди них задвигались тысячи темных фигур, разлился гул говора. Передаю лошадь свою Ларивону, бывшему некогда моим дядь-

кою, а тогда исполнявшему при мне должность денщика. Спешу броситься на клок сена и, убаюканный расхोдившимся от качки на лошади волнением крови, погружаюсь в глубокий сон. Шекспиров Ричард отдавал полцарства за коня, а я не взял бы тогда полцарства за этот сон. Увы! только минут пять, десять наслаждаюсь им. Раздаются вдоль бивуака оклики: «Адъютанта такого-то!» — ходят от одного расстояния к другому, ближе и ближе, наконец, почти над самым моим ухом. Слышу сквозь сон свое имя, но не шевелюсь. Кто-то меня немилосердно толкает, говорит, что меня требуют к моему генералу. Стал я на ноги. Передо мною длинное, предлинное привидение солдат вестовой со словами:

— Пожалуйте, ваше благородие, к генералу.

— Куда? — спрашиваю.

— В деревне, недалеко, рукой махнуть. Он у Ермолова. Темненько; извольте за меня держаться.

Иду машинально, ухватясь за рукав моего вожатого.

Вошли в какую-то каменную ограду.

— Поосторожнее, — говорит мой проводник, — не наткнитесь на мертвое тело... Было здесь сражение, не успели зарыть убитых.

Действительно, тут было сражение (вчера, третьего дня — не помню хорошо места и числа). Зарево бивуака осветило передо мною два-три беловосковые лика воинов, честно павших, но лишенных честного погребения.

Покойный Фаддей Венедиктович Булгарин в своих «Воспоминаниях» говорит, что, ночуя на месте сражения, он положил себе под голову, вместо подушки, убитого неприятеля. Признаюсь, у меня не достало бы такого хладнокровия.

Да ведь Фаддей Венедиктович был во всех случаях не чета другим — герой!

Подходим к крестьянскому домику, входим во двор. На дворе множество лошадей, ни одного экипажа, около них вьюки, седла и, ближе к воротам, осел с двумя плетеными корзинами по бокам. В одной, свернувшись калачиком, спит безмятежным сном ребенок; на земле, около него, сидит мужчина лет сорока, в синей холщовой блузе, усердно упекающий куски мяса, распластанные на огром-

ном ломте белого хлеба.

— Как ты сюда попал, Антуан? — спрашиваю блузника.

— Mon commendant<sup>(3)</sup> (так называл он генерала Полуектова), — отвечал мне блузник, не забыв приложить руку к козырьку замасленного картуза, — представил меня генералу Ermolo<sup>(4)</sup>, и вот я, накормив и убаюкав mon petit morveux<sup>(5)</sup>, по милости их excellences<sup>(6)</sup>, подкрепляю свои силы от щедрой их трапезы. Выкинул же le corsicain<sup>(7)</sup> под конец своих подвигов штуку, чтоб ему...

И посыпалась крупная брань на Бонапарта, осмелившегося потревожить блузника в его путешествии к Парижу. А на брань французы большие мастера, хоть и уступают в этом художестве русским.

Кто такой был Антуан, никто у нас не знал; знаю только, что он не имел крова и за душою ни одного су, недавно овдовел, на походе под Труа пристал со своим двухлетним сынишкой и ослом к московскому гренадерскому полку, которым командовал Полуектов, и состоял под его особенным покровительством. В русском войске он находился как в

своей семье, а ребенок его, вскоре баловень полка, так привык к нашим офицерам и солдатам, что охотно ходил к ним на руки. При втором нашем приближении к Парижу он исчез с своим сынишком и ослом.

Антуан говорил, что если бы не связывал его ребенок, которого он страстно любил, и если бы не сестра, ожидавшая его в Париже, так ушел бы с ними в Россию. И в самом деле ушел бы тогда.

Француз от природы простодушен, легковерен, идет скоро на ласку, скоро дружится, особенно с русскими, к тому ж авантюрист и космополит. Его отечество там, где ему хорошо. Антуану нужно было пробраться к сестре в Париж, и вот он на первый ласковый звук французской речи в русском войске пробирался туда с сынишком среди неприятелей-варваров, которые, как разглашали бюллетени, рассыпанные по деревням, пожирают маленьких детей. Когда мы выходили из Парижа, не было отбою от французигов, просившихся с нами в нашу гиперборейскую страну. Я и брат мой взяли с собою по мальчику лет 11-15. Мой накопил несколько сот франков и с

этим богатством возвратился восвояси, братнин остался в России, где своим хорошеньким личиком сделал себе блестящую карьеру... (vive les dames russes!)<sup>(8)</sup> Чтобы довершить характеристику французов, скажу, что нет народа славлюбивее. Во время похода мы квартировали в французских деревнях и особенно под Лангром стояли несколько дней (кажется, во время какого-то перемирия), даже катались на импровизованных санях по обыденному снегу, который будто с собою нанесли, и ходили с скороспелыми приятелями-французами охотиться на кабанов (заметьте, в военное время, на неприятельской земле). В этих деревнях мы были свидетелями, как отцы и матери горько плакали и осыпали проклятиями императора за то, что вел детей их на ежедневную бойню: мы слышали, как роптали мужички, конскрипты, отправляясь в ряды военные. И что ж? при первом смотре маленького капрала те же отцы и матери осушали свои слезы и с гордостью глядели на своих детей в военном строю — будущих маршалов; те же конскрипты-мужички, очарованные магическим взглядом и словом гениального

полководца, клялись умереть за него.

Вхожу в избушку, ярко освещенную. На пышном соломенном ложе, разостланном на полу, расположилось в разных позах целое общество генералов, штаб— и обер-офицеров и между ними Алексей Петрович Ермолов. Если б я не видал его лица, то мог бы узнать его по огромной, львиной голове. Сюртук его нараспашку, на широкой груди висит наперсный крест с ладанкой, в которой зашит псалом: «Живый в помощи вышнего» — благословение отцовское. С этим талисманом он никогда не расстаётся, с ним он носитя в бою, как будто окрыленный силами небесными. Тут же и генерал мой.

— А вот и свидетель, — сказал А[лексей] П[етрович], коварно мигнув сидевшему подле него (помнится) Дамасу<sup>(9)</sup>, потом, обращаясь ко мне, прибавил: «Извини, что мы тебя потревожили. Надо тебя предупредить, что ты призван сюда не по службе, и потому, птенец, садись или ложись между нами, как тебе лучше».

Когда я уселся на место, которое мне очистили двое из собеседников, генерал мой на-

чал передавать мне пресмешной, но невероятный анекдот, которого я будто бы был свидетелем.

— Могу только сказать, — отвечал я, — что моей личности при этом случае не было.

— Вспомни хорошенько, мой золотой, — начал убеждать меня Полуектов, — это было там-то, в такой-то день и т.д.

— Вспомните, генерал, — отозвался я, — что я поступил к вам в адъютанты, когда полк со всею армией перешел уже через Рейн, а случай, о котором вы говорите, был до перехода этого, и я находился тогда на пути из Мекленбурга.

— Ну, так виноват, — сказал Б.В., — это было наверно при полковом адъютанте.

Полуектов был благороднейший и добрейший из смертных и в жизнь свою ни на кого не сердился, тем менее на меня. Надо заметить, что в анекдотах его было много ума и несколько оскорбительного злословия.

Кончилась эта история тем, что все от души смеялись, в том числе и сам виновник смеха. Разговор обратился на другой предмет. Долго еще сыпались анекдоты, остроты, пока

хозяин не сказал, что пора на покой.

Но я по-стариковски заболтался и невольно отдалился от статьи М.Н.Погодина; обращаюсь к ней.

Он предлагает только материалы, которые, прежде чем попасть в историю, должны пройти сквозь веялку критики. Не мое дело и не по моим способам писать им полный критический разбор. Но долг каждого человека, который был свидетелем эпохи и знал людей, из ней описываемых, обязан сказать то, что ему об них известно, если он мало-мальски владеет пером. И потому я буду говорить только то, что имел случай знать об них. Многоуважаемый мною автор статьи извинит меня, если я как-нибудь, ради истины, найду его лично виноватым перед судом истории за то, что он, хоть и со слов других, поместил в своей статье некоторые неверности. Он мог бы их избежать, если бы слегка бросил на материалы, в ней помещенные, критический взгляд. Кстати я коснусь записок Ермолова и Давыдова. Я должен также признаться, что главным побуждением моим писать о статье Погодина было желание защитить память од-

ного из замечательных деятелей великой эпохи — память, оскорбленную несправедливыми и неверными отзывами о нем, помещенными в материалах. Итак, к делу.

В статье Погодина я прочел, что Ермолов, в царствование императора Павла Петровича, был сослан вместе с Платовым[5] в Кострому. При этом случае я вспомнил рассказ одного костромского старожила, переданный мне лет двадцать тому назад и обрисовывающий характер Алексея Петровича. Вот что он мне рассказал.

Когда Ермолов, в чине подполковника, жил в ссылке в Костроме, он в зимнее время возил на салазках для своей хозяйки, старушки-мещанки, у которой квартировал и которая любила его как сына, воду в ушате или кадке с реки, по обледенелой горе. Иногда присаживался на салазки мальчуган, внучек хозяйки.

Если б я был художник, я написал бы будущего главнокомандующего на Кавказе в этом виде. Можно было бы прибавить, для полноты картины, старичка мещанина, благоговейно скинувшего перед ним шапку, и хозяйку,

радостно встречающую поезд у ворот своего дома. Ближе к главному лицу, для более полной характеристики его, я поместил бы двух пригожих, с веселыми лицами, костромитянок, которые, неся ведра с водою на коромыслах, посылают молодому офицеру приветствие рукою.

В записках Ермолова сказано:

«В ночи на третьи сутки, в Витебске<sup>{10}</sup>, главнокомандующий согласился послать корпус пехоты и несколько кавалерийских полков навстречу неприятелю по левому берегу Двины. Я предложил генерал-лейтенанта графа Остермана, блистательную репутацию в прошедшую войну сделавшего и известного упорством в сражении. Надобен был генерал, который бы дождался сил неприятеля и они его не уstraшили».

Только-то, чтобы не уstraшили? Подобных генералов было у нас довольно. Назначая генерала с большим корпусом на такое важное дело, главнокомандующий, конечно, имел в нем в виду качества более важные, нежели одна неустрашимость. Заметьте слова, мною нарочно подчеркнутые, они пригодятся нам в

другом месте.

Я имел в руках своих подлинную записку, вероятно, дополнительную к приказу главнокомандующего, написанную по этому случаю и подписанную начальником штаба Ермоловым. К сожалению, она у меня затерялась. Помню только, что она написана была на четвертушке листа прекрасным, четким почерком, красноречиво, хотя и без обилия слов, и в очень лестных для графа выражениях. В ней сказано было, что главнокомандующий, поручая ему это дело, не дает никакой особенной инструкции, уверенный, что если сказано ему удержать или разбить неприятеля, то это будет исполнено.

«Таков был Остерман, — продолжает Ермолов в своих записках, — и он пошел с 4-м корпусом! В двенадцати верстах встретил он небольшую часть неприятельских передовых войск и преследовал их до местечка Островно. Здесь предстали ему силы неприятельские превосходные и дело началось жарчайшее... Ночь прекратила сражение... Урон с обеих сторон был весьма значащий... и проч.».

К этому описанию прибавлю: здесь графу

Остерману-Толстому надо было, имея против себя двойные силы, особенно на первых порах кампании, отстоять честь русского оружия. Это дело, в армии Барклая, было почти одновременно с дашковским в армии Баграциона, где, говоря словами Ермолова, «Раевский, с малыми силами, в сравнении с неприятельскими, употребил и распорядительность (здесь уж и распорядительность), ему свойственную, и храбрость, его отличавшую: взяв знамя, он пошел в голове колонны, ведя за собою двух сыновей, из коих одному было не более одиннадцати лет». (В сражении под Парижем я видел одного из них, помнится в егерском мундире, лет четырнадцати или пятнадцати, и любовался, как этот стройный, красивый мальчик весело разъезжал в свите нашего дивизионного генерала Паскевича по цепи стрелков). Здесь, говорю, надо было графу Остерману-Толстому искусною распорядительностью<sup>(11)</sup> и неустрашимостью, особенно на первых порах кампании, отстоять честь русского войска, и он ее отстоял. Когда в самом пылу сражения от разных подчиненных ему начальников прискакивали к нему адъ-

ютанты с донесением, что ряды наши редуют более и более и едва держатся под смертоносным огнем, и спрашивали, что он прикажет делать, — он отвечал только: «Стоять и умирать!» И стояли русские воины, и умирали, ограждая своими телами безопасность движений целой армии Барклая, которой надо было, чего бы ни стоило, соединиться с армией Багратиона. Этот лаконический ответ, известный всей русской армии, к сожалению, почему-то не попал в материалы Погодина. Ему дал, однако ж, почетное место военный историк Богданович в своем описании «Отечественной войны». Он напомнил мне другой, подобный ответ графа. Когда в одном военном обществе рассказывали о каком-то героическом подвиге, и рассказчик прибавил: «Это подвиг, достойный римлянина», — граф возразил с неудовольствием: «Почему же не русского?»

В статье Погодина на стр. 198 и 199 выписано из Давыдова:

«Фигнеру[6] не удалось перейти Лужу, тщательно охраняемую неприятельскими пикетами. Сеславин успел перейти реку и прибли-

зился к Боровской дороге. Здесь, оставив свою партию, он пешком (заметьте, пешком) пробрался до Боровской дороги сквозь лес, на котором было еще немного листьев. Достигнув дороги, он увидел глубокие неприятельские колонны, следовавшие одна за другою к Боровску; он заметил самого Наполеона, окруженного своими маршалами и гвардией. Неутомимый и бесстрашный Сеславин (кстати заметим, эти эпитеты повторяются до приторности, когда самый подвиг показывает качества лица, его совершившего, иногда некстати, как мы увидим), выхватив (слушайте! слушайте!) из колонны старой гвардии унтер-офицера, связал его, перекинул через седло и быстро направился к корпусу Дохтурова».

Воля ваша, это было как-нибудь не так. В противном случае подвиг Сеславина может стать наряду с сказочными Еруслана Лазаревича. Как, пешком вторгнуться в колонны наполеоновской гвардии, выхватить из них унтер-офицера (должно предполагать, дотащить его до своей лошади), перекинуть через седло и ускакать с своей добычей? И гвардейский

унтер-офицер, который, конечно, был немало-го десятка и не трус, сверх того не безоружный, так-таки дал себя выхватить из колонны и связать, не защищаясь, и ротозей-товарищи не двинулись в защиту его? Заметьте, Сеславин все это совершил в виду Наполеона и маршалов его. Это невероятно, даже если бы наш партизан был Голиаф и на лошади. Позвольте, многоуважаемый мною М.П., упрекнуть вас за то, что вы не остереглись поместить это мифическое сказание. Оно не пройдет в историю, даже под щитом имени Давыдова. Статья ваша, богатая драгоценными материалами, могла бы обойтись без всякого балласта. Ермолов в своих записках говорит только (стр. 217):

«Ночью, на поле, сталкиваюсь вдруг с Сеславиным... Скрыв в лесу свою партию, он, в четырех верстах от села Фоминского, осмотрел шедшие неприятельские войска, которые состояли из всей пешей и конной гвардии Наполеона и из всего корпуса маршала Нея. Схваченные им несколько человек показали и пр.».

Вероятно, он это совершил уже с своею

партией и над одиночными солдатами, отсталыми или отделившимися в сторону от своих колонн...

Так и есть. По написании этих строк я прочел в описании войны 1812 года Богдановича следующий рассказ об этом событии:

«Партизан Сеславин донес, что он, укрывшись в лесу, не доходя Фоминского 4 версты, видел Наполеона со всею его свитой и также французскую гвардию и другие войска в значительном числе. Пропустив их мимо своего отряда, Сеславин захватил несколько отсталых гвардейцев и привез с собою одного из них, расторопного унтер-офицера».

Вот это уж не сказки!

Оборачивание листов с поверкою их в иной книге бывает очень потешно. На такой-то странице один человек представляется черным, на такой-то белым, смотря по отношению лиц к этому человеку. Отсюда легко вывести характеристику этих лиц.

На стр. 131 в примечании сказано:

«Граф Аракчеев, узнав о назначении Ермолова начальником главного штаба, сказал ему: „Вам, как человеку молодому, предстоит

много хлопот: Михаил Богданович весьма дурно изъясняется и много не досказывает, а потому вам надо стараться (?) понимать его и дополнять его распоряжения своими собственными (?)“».

И это говорил Аракчеев, строжайший формалист и блюститель дисциплины? Оборотите несколько листов назад, и вы увидите, что тот же Аракчеев на каждом шагу старался вредить Ермолову. Оборотите листы вперед, и вы прочтете у Давыдова:

«Доблестный и величественный (?) Барклай (в военном совете под Москвою), превосходно изложив в кратких словах материальные средства России, кои ему лучше всех были известны, требовал, чтобы Москва отдана была без боя».

Видно, Барклай умел говорить, когда нужно было и, хотя немец, знал лучше других русских средства России. Один государь Александр Павлович умел тогда угадать его достоинства и оценить заслуги, как вождя армии, в такое тяжкое для России время и, только уступая народному голосу, заменил его Кутузовым.

Ермолов, описывая бородинское дело, говорит:

«Когда начальствующий корпусом, генерал-лейтенант Горчаков, получил рану, и корпус его приведен был в расстройство, пришедший со 2-ю гренадерскою дивизией на помощь войскам, ослабевшим от защиты укреплений, генерал-майор принц Мекленбургский остановил успехи неприятеля, но вскоре был ранен».

Да, в этом деле, как и во многих других, гренадеры покрыли себя славой. Офицеры московского гренадерского полка, в который я поступил с начала моей службы, рассказывали мне, что в конце Бородинского сражения командовал полком капитан, потому что все высшие офицеры были перебиты. Вероятно, то же было в некоторых других полках, представлявших и долго после того одни кадры.

Когда московский гренадерский полк, в начале 1813 г., проходил в Полоцке церемониальным маршем мимо государя, смотревшего на него из окон своей квартиры, его величество изволил заметить Кутузову некоторые

неисправности в полку. В самом деле, смешно было лицам, привыкшим к отличной обмундировке и выправке лучших солдат, смотреть на них в мундирах обожженных, с заплатами, отвыкших от церемониального марша для боевого. Офицеры, тем более я, новичок, никогда не искусившийся в науке маршировки, сбивались с ноги. Кивера у многих из нас были солдатские, сабли медные. На все замечания государя фельдмаршал отзывался только: «Славно дерутся, ваше величество, отличились там-то и так-то».

Принц Мекленбургский Карл поехал лечиться во Владимир, где в то же время находился раненый граф Воронцов[7], со множеством искалеченных в Бородинском деле офицеров, которых он щедро содержал на свой счет.

Мать нынешнего гросс-герцога Мекленбург-Шверинского и сестра императрицы Александры Федоровны, когда я имел честь, во время ее приезда в Москву, представляться ей, как бывший адъютант принца Карла, смеясь рассказывала мне, как он, бывало, покажет ей то левую руку, в которую был ранен

под Бородином, то правую...

Можно судить поэтому, как тяжела была рана и с каким тевтонским мужеством он ее перенес. Принц был добрый человек, более ничего в его похвалу не могу сказать. Играя в карты, он проигрывал не только свои наличные деньги, но и драгоценные вещи; выпивши два-три бокала шампанского, скоро ослабевал...

После перемирия, перед самым Кульмским делом, ему велено было ехать в армию кронпринца шведского Бернадотта[8], но как он не получил там никакого назначения, то дали ему отпуск на родину. Он было попытался явиться в русскую армию близ Рейна, но это была его последняя попытка...

А.П.Ермолов упоминает в своих записках (стр. 208), что 22-го сентября военный министр Барклай де Толли оставил армию и поехал в Калугу и далее.

Я имел случай видеть Барклайя де Толли 23-го или 24-го сентября на первой станции от Коломны в Рязань и описал этот случай в статье: «Новобранец 1812 года». Полагаю, что не будет лишним поместить здесь это описание.

«Недалеко от почтовой станции расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух своим ржанием, стаи гончих и борзых, с которыми помещики в своем бегстве от неприятеля не могли расстаться, зажженные костры, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение, — все это представляло живописное зрелище, но могло ли это зрелище в тогдашних обстоятельствах радовать нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к стационарному дому, возле него остановилась колясочка, она была откинута. В ней сидел Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе, глухо слышались даже укоризненные слова...

Немудрено... отступление к Москве расположило умы против него. Кроме государя и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала

войны до Бородинской отчаянной схватки сберег на плечах своих судьбу России, достигнутую неслыханною еще от века силою военного гения и столь же громадными вещественными силами. Но ропот тотчас замолк: его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по его лицу. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, неразгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, не будучи сами в состоянии дать отчет, чему они покоряются.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова и пером Пушкина. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы... Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла смущенная толпа на прежнем месте».

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25-го сентября был он в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому письмо, замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии.

Подлинное письмо перешло от меня к графу А.С.Уварову. Он обещал прислать мне его, но, вероятно, не мог отыскать в своих бумагах, и потому я лишен возможности передать его слово в слово. Помню только, что в нем Барклай де Толли выражал глубокую грусть, расставаясь с русским войском, и надежду, что в этом войске остаются достойные вожди, которые поддержат честь его. Любопытно бы знать, кто из тогдашних корпусных командиров получил подобное письмо и кто не получил.

Много было говорено о 1812 годе, но никогда не довольно говорить о нем. Еще и теперь пугает он тех, кто врагами вздумал бы ступить на русскую землю. При этом имени встают из-под снегов русских и льдов Березины сотни тысяч окоченелых воинов, искаженных ужасною смертью, в разных уродливых

одеждах; они простирают руки к своему отечеству и молят его на разных языках, как при Вавилонском столпотворении, не подвергать их внуков новым подобным бедствиям.

Знакома ль вам прекрасная гравюра, изображающая великую армию, небывалую в летописях человечества, воспитанную гениальным вождем своим в славных битвах нескольких лет и разных стран, когда она переходит Неман у Ковно? Она изгибается между гор и по горам и переползает реку, как огромный боа. Вы видите, как эти бесчисленные полки спешат, спешат все вперед. Сердце ваше замирает от мысли, что они идут раздавить ваше отечество. Наполеон, в своей исторической треуголке, стоит на одной из высот, скрестив по своему обыкновению руки на груди. Кажется, вы читаете на его лице и встречный, торжественный гул московских колоколов, и коленопреклоненный перед ним народ русский, и снопы трофеев, которые он ставит в Notre Dame<sup>{12}</sup>.

Один офицер, бывший тогда при нем, вступивший потом в русскую службу и дослужившийся у нас до генеральства, рассказывал

мне, что император французов в то время забавлялся, как бриеннский школьник, подцепляя камешки носком своего сапога и подбрасывая их вверх.

Через несколько месяцев этой великой армии не стало, вождь ее спасается, как беглец, и едва ли не на том же самом месте переезжает русскую границу 26-го ноября, в день Георгия Победоносца.

Я был свидетелем бедствий этой армии. Прибыв в Вильно вслед за вступлением туда наших главных войск, я видел, как по тем же улицам, по которым не так еще давно проходили воинственные колонны с торжественною музыкой, с победными орлами, — как по этим самым улицам провозили ежедневно для сожигания на Вилейке целые возы нагих, замороженных воинов, перевязанных по нескольку десятков веревками, словно свиные туши. Посещая с принцем Карлом Мекленбургским его раненых соотечественников, в доме еврея, мы нашли, что умершие и умирающие лежали рядом с живыми на соломе, перегнившей от крови и нечистоты. Никогда человечество не видало над собою такого по-

ругания. В городе воздух был так заражен миазмами от сгнивших трупов, что принуждены были очищать его куревом зажженных кучек навоза.

С приездом государя в Вильно все оживилось, следы разрушения и позора человечества исчезли, везде заструились жизнь, радость, любовь и милость; раненые, свои и неприятельские, были равно призрены. Иллюминовались здания, осветились лица и сердца. Вскоре открылся театр, дан был бал. На этом вечере, когда государь входил в зал, то невольно наступил на знамена, только что отбитые у неприятеля. Это была нечаянность, приготовленная торжествующим, осыпанным царскими милостями, благодарностью России и всемирною славой, фельдмаршалом Михаилом Ларионовичем.

Где-то был ты тогда, Михаил Богданович?

Будущее возвратило тебе, что силилась отнять у тебя современность. Могила твоя в глуши, среди мрачных сосновых лесов твоей родины, Ливонии, но памятник тебе стоит рядом с памятником Кутузову на площади Казанского собора.

Теперь приступаю к самому капитальному замечанию. К нему подвинуло меня желание восстановить истину и, по моим средствам, защитить память одного из замечательных деятелей великой эпохи.

Я хочу говорить о графе Александре Ивановиче Остермане-Толстом.

Он происходил из древнего рода Толстых. Отец его, Иван Матвеевич, был генерал-майор, дядя Николай Матвеевич также артиллерийский генерал-майор, участвовавший с честью в одной из турецких кампаний под начальством Румянцева. К сожалению, не имею данных о других, более или менее замечательных родственниках, кроме тех, о которых здесь упоминаю.

Отец Александра Ивановича, деспот в своем семействе и над своими вассалами, был не очень богатый помещик. «Знаешь ли, — сказал мне однажды граф А[лександр] И[ванович], — сколько у меня было рубашек, когда отец отпускал меня в одну из турецких кампаний? Только шесть, и те из довольно грубого, домашнего холста». Дяди его, графы Остерманы, канцлер Иван Андреевич и сенатор Федор Ан-

дреевич, оба бездетные, передали племяннику в наследство свою фамилию, вместе с графством, несколькими тысячами душ, огромными сосновыми лесами под Москвой и Петербургом и дубовыми в Рязанской губернии, которых целый век не трогал топор. Прибавьте в этому палаты в Москве<sup>{13}</sup>, несколько десятков пудов серебра и разные драгоценности на большие суммы. Иван Матвеевич, несмотря на такую благодать, падавшую с неба на его сына, кичась своим древним родом, с трудом согласился, чтобы фамилию Толстых поставили в хвосте фамилии Остерманов, происшедшей, как он говорил, «от немецкого попа». Действительно, отец упомянутых графов, Андрей Иванович, был сын пастора из местечка Бокум. Студент Иенского университета, он впутался в какую-то любовную историю с женою своего профессора и вызвал его на дуэль, вследствие которой бежал в Голландию. Здесь увидел его Петр I и принял к себе на службу. Этот сын немецкого попа и повеса студент был потом тот знаменитый канцлер, кавалер многих российских и иностранных орденов, который ништадтским миром доста-

вил России прибалтийские губернии и возможность великому государю прорубить окно в Европу и создать русский флот. При Елисавете он был сослан в Сибирь, в Березов, где он и скончался. Супруге его, урожденной Стрешневой, было предложено императрицей Елисаветой Петровной оставаться на свободе и пользоваться имениями своего мужа. Она отвечала только: «куда иголка, туда и нитка», и последовала за ним в изгнание. По смерти его, графиня возвратилась на родину и, посвятив себя молитвам, провела иноческую жизнь в селе Никольском, под Москвою. Дети их, два сына и дочь, остались в Петербурге. Одного из них, Ивана Андреевича, мы видим уже в царствование Екатерины канцлером, по уму и заслугам своим достойного наследника своего отца. В начале царствования Александра Павловича он уже кончил свое служебное поприще и жил в Москве на покое, сохраняя у преддверия гроба великолепный декорум екатерининских вельмож и отблеск ума, так славно поддерживавшего политику великой государыни. Но и тогда молодой император не переставал письменно со-

вещаться с ним о государственных делах первой важности: о политике, торговле, банке, ополчении и даже роскоши, которой государь был враг. Уже со вступления Александра на престол граф Иван Андреевич указывал на Наполеона, как на зловещую комету, встающую на политическом горизонте Европы. Императрица Мария Федоровна вела с канцлером постоянную переписку. Как уважали его другие члены императорской фамилии, мы узнаем из следующего события. Граф Иван Андреевич давал бал в своих палатах, в которых угощал по-барски каждое воскресенье московское общество всяких чинов. На вечере старец, говоря с великою княгиней Ольденбургскою (впоследствии королевою Виртембергскою) Екатериною Павловной, уронил свою трость. Эта, чарующая всех своею красотою, любезностью и умом женщина поспешила поднять трость и, подавая ее, сказала смутившемуся хозяину: «Votre tete n'a pas encore besoin de soutien, mais vos mains le demandent, et je suis heureuse de vous l'offrir» («Ваша голова не имеет еще нужды в чужой помощи, но ваши руки ее требуют, и я счастлива, что мо-

гу вам предложить ее»)<sup>(14)</sup>. Не знаю, известно ли кому, что канцлер Иван Андреевич первый угадал в Канкрине[9] будущего государственного экономиста еще тогда, когда Е.Фр. только что прибыл из Германии и представил ему свой проект об овцеводстве. Граф первый и открыл ему доступ к службе, которая должна была так блистательно увенчаться.

Сенатор, граф Федор Андреевич, известен своею рассеянностью, о которой ходили в свое время бесчисленные анекдоты.

Вот что случилось с дочерью знаменитого изгнанника. Елисавета Петровна, заметив однажды в придворной церкви взрослую девушку с интересною наружностью, усердно молившуюся, спросила находившегося при ней придворного кто это такая, и когда ей доложили, что это дочь «несчастливого Остермана», сказала: «Девушка на возрасте, пора выдать ее замуж. Сыщите ей приличного жениха, доброго человека, а о приданом я позабочусь». Вследствие этого разговора дочь Остермана выдали за Толстого, если не ошибаюсь, тогда еще артиллерийского капитана, ходившего некогда

на вести к канцлеру Петра I. Выбор был удачный. Этим союзом образовалось родство Остерманов с Толстыми.

Граф Александр Иванович Остерман-Толстой провел последние годы своей жизни в чужих краях и умер в Женеве с лишком восьмидесяти лет. Любопытно бы знать, поставлен ли на его могиле памятник, работы, кажется, Торвальдсена, замечательный по идее и исполнению. На нем кульмский герой представлен лежащим, облокотясь правою рукой на барабан; другая рука, оторванная, лежит вблизи на земле вместе с французским орлом или знаменем. Женатый на княжне Елисавете Алексеевне Голицыной, умершей прежде его, он не имел детей. Внук его, по сестре княгине Наталье Ивановне Голицыной, известной своим умом и энергией, теперь еще малолетний, получив в наследстве большую часть его имения, носит фамилию князя Голицына графа Остермана-Толстого. Чудное сочетание имен, как заметил в одной статье своей М.П.Погодин.

Граф Александр Иванович получил прекрасное образование, знал отлично француз-

ский и немецкий языки и воспитанный в идеях екатерининского времени о восстановлении греческой империи, учился греческому языку, быв даже корпусным командиром. Во время восстания Греции он с особенною лаской принимал к себе греков, приезжавших тогда в Петербург по политическим целям. Он изучал много военных писателей, которых богатую библиотеку собирал для него генерал Жомини. В путешествии его по Египту (где Али-паша и сын его Ибрагим принимали графа с большим почетом), по Сирии и Палестине сопровождал его известный немецкий ученый. Когда он жил в Женеве самое приятное для него общество был избранный кружок тамошних ученых. Типическая, южная физиономия его, с тонкими, античными очертаниями лица, с черными, выразительными глазами под черными бровями, была замечательна. Как он, безрукий, красив был в своем генерал-адъютантском мундире среди царедворцев!

Теперь о несправедливых отзывах, брошенных в него, едва ли еще не при его жизни.

В статье г. Погодина на странице 626 сказано со слов Давыдова:

«Мужественный и хладнокровный граф Остерман не отличался большими умственными способностями; совет, поданный им в 1812 году в Филях о необходимости оставить Москву без боя, был причиною того, что он несколько раз сходил с ума: ему казалось, что армия почитает его первейшим трусом».

Что ни слово в этом резком и опрометчивом отзыве, то неверность и несправедливость. Здесь партизан-писатель показал, что он и писатель-партизан. Во-первых, в трусости никто не мог подозревать графа Остермана-Толстого: это было ему хорошо известно. Во-вторых, поданное им в Филях мнение согласовалось с мнениями Барклая де Толли, Раевского и Дохтурова, конечно, не из угождения им — он умел только угождать своему государю и отечеству; не из какой-либо боязни — он никогда ничего и никого не боялся. Он подал свое мнение вопреки голосам Беннигсена и Ермолова, который, как говорит Давыдов, «боясь потерять свою популярность, приобретенную им в армии, подал голос в

пользу битвы под Москвою, хотя и уверен был, что новое сражение бесполезно и невозможно». Предоставляю судить, кто в этом случае прямее действовал, Остерман или Ермолов?<sup>(15)</sup> Голоса Остермана и его единомышленников восторжествовали: они оправдались спасением России. Неужели это доказывает недостаток умственных способностей? Последствия были скоры и благодетельны, и с ума от них, да еще несколько раз, нечего было сходить. Оставалось только радоваться успеху одержанной в совете победы. Что граф Остерман-Толстой действительно на некоторое время впал в глубокую задумчивость, так это случилось после Тарутинского дела, к которому, как говорит Ермолов в своих записках, «4-й корпус графа Остермана-Толстого не прибыл по назначению и в деле почти не участвовал». Хотя этот случай мог произойти не от его вины, а по ошибке квартирмейстерского офицера, давшего в темноте неверное направление корпусу, однако ж все-таки невыполнение графом диспозиции войск к сражению должно было сильно огорчить его. Потом, человеку, сошедшему с ума, не пору-

чили бы командование корпусом после Тарутинского дела, тем более командование всей гвардии в 13 году под Кульмом и, по окончании кампании, гренадерским корпусом, которого он был начальником до 20 года. Писал же князь Багратион Ермолову (стр. 172 статьи Погодина), говоря о себе: «Сумасшедший не только защищать отечество, но и капральством командовать не может». Что касается способностей ума графа, то мы видели его прозорливость и здравые соображения в совете, происходившем в Филях; мы видели, что в Витебске сам Ермолов посоветовал главнокомандующему Барклаю де Толли послать его, «как генерала, блистательную репутацию в прошедшую войну сделавшего», с корпусом пехоты и несколькими кавалерийскими полками задержать силы неприятеля, вдвое более многочисленные, и тем облегчить операции целой русской армии. А блистательную репутацию едва ли можно сделать с ограниченными умственными способностями; да и сам Барклай де Толли, знавший хорошо генералов своей армии, не согласился бы поручить ему такое важное дело, если бы не уве-

рен был сколько в его неустрашимости, столько и в умственных способностях.

На стр. 627 статьи г. Погодина по случаю Кульмского дела сказано:

«Остерман хотел идти на... (?). Ермолов, основываясь на карте, убедил его оставить это намерение, которое погубило бы нас и вообще без Кульмского сражения (?) дало бы другой вид войне».

Мы верим, что было так, как говорится в статье, но разве тем, что Остерман послушался умного совета, он доказал недостаток своих умственных способностей? Если б у него был червяк в голове, как об нем отзывался Давыдов, он сделал бы противное. Мы читали в истории и не одних войн, что иной главный начальник из самолюбия и самонадеянности не следовал умному совету своего подчиненного потому только, что хорошее в этом совете принадлежало не ему, главному начальнику.

Там же говорится: «В начале сражения Остерману оторвало ногу, и оно ведено было Ермоловым». Как понимать это начало? Время остается неопределенным. Можно поду-

мать, что лишь только наши войска вступили в дело, Остерман был ранен. На стр. 629 сказано: «Остерман, быв ранен в 10 часу утра, сдал начальство над всеми войсками Ермолову». И это пояснение не определяет, сколько времени продолжалось уже сражение; могло быть, что оно началось на заре (как это и действительно было, по свидетельствам участвовавших в нем). Все-таки показание остается неочищенным и на него падает какая-то тень недобросовестности в отношении к Остерману. Вернее и справедливее сказать, что он был ранен в самый разгар битвы. За доказательствами прибегните к историкам кампании тринадцатого года. Истину не поймаешь, ловя ее с повязанными глазами.

Что касается показания, будто графу Остерману-Толстому оторвало ногу, то это непростительная ошибка. Хочу предполагать, что она типографическая... Кто не знает, что ему оторвало руку (именно левую)? Рука эта долго хранилась в спирте. Когда я приехал с ним в 1818 году в его Сапожковское имение, село Красное, он куда-то пошел с священником и запретил мне сопровождать его. Впослед-

ствии я узнал от того же священника, что он зарыл руку в фамильном склепе своих дядей, графов Остерманов, в ногах у гробниц их, как дань благодарности за их благодеяния и свидетельство, что он не уронил наследованного от них имени.

Раненого (рука держалась еще на плечевом суставе; надо было отделить ее) отнесли с места сражения на более безопасное; приехал король прусский и, увидав его окровавленного, в бесчувственном положении, заплакал над ним. Лишь только он пришел в себя, первую его мыслью, первым словом был государь, которого он любил до обожания.

— *Est-ce vous, sire?* — спросил он короля, — *l'empereur mon maitre est-il en surete?*<sup>{16}</sup>

Его скоро окружили врачи из разных полков. Он остановил свой взор на одном из них, еще очень молодом человеке, недавно поступившем на службу (это был Кучковский), позвал его к себе и сказал ему твердым голосом: «Твоя физиономия мне нравится, отрезывай мне руку». Во время операции он приказал солдатам петь русскую песню. Этот рассказ передан мне адъютантами его (кажется,

только двое и уцелели), бывшими при нем в Кульмском деле.

Давыдов говорит:

«Хотя не подлежит никакому сомнению, что победой при Кульме Европа в особенности обязана Ермолову, но многочисленные и сильные враги его силились и силятся доказать противное. По мнению некоторых, главным героем дня был граф Остерман, по мнению других — принц Евгений Виртембергский, по мнению Барклая, весьма неблагоприятного к Ермолову (то же сказано было где-то о Кутузове), квартирмейстерский офицер Диест (о последнем-то не стоило бы и говорить — кто у нас знает его? — и поднимать старые дразги из того, что главнокомандующий хотел дать ему орден св. Георгия 4-й степени). Цена высоко, продолжает Давыдов, заслуги графа Остермана (этого не видать из прежних его отзывов) и принца Виртембергского во всю эпоху наполеоновских войн и в Кульмском сражении в особенности, я (доказательств, однако ж, не приведено, кроме того, что Остерман хотел идти на... (?), а Ермолов ему отсоветовал) положительно признаю

(довольно самонадеянно!) Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь справедливую признательность и удивление Европы».

И я, маленький человек в сравнении с Давыдовым, осмелюсь сказать: жаркие поклонники Ермолова силились и силятся доказать, что главным героем Кульмского дела был он, стараясь отодвинуть на задний план графа Остермана-Толстого. За что ж отдавать все одному лицу и лишать другого того, чего уже никто лишить его не может? Если б от меня зависело помирить эти мнения, я сказал бы, что оба равно были виновниками победы: Остерман славно начал и вел дело, Ермолов славно довершил его. Но все-таки, что ни говори и ни пиши, а история, упоминая о Кульмском деле, поставит имя Остермана на первое место, а Ермолова на второе, и никакой богатырь-писатель не переместит их. Это засвидетельствовал государь Александр I, наградив первого за Кульмское дело орденом св. Георгия 2-го класса и отечески благоволив к нему до конца своей жизни. Император являлся его покровителем и миротворцем даже

в размолвках его (в мирное уже время) с фельдмаршалом Барклаем де Толли. К этому свидетельству присоединился голос целого народа чешского, поднесшего ему в признательность за спасение свое дорогой сосуд, который скромный победитель передал для священнодействия в церковь Преображенского полка. Государь отдал ему вазой, на которой герой Кульмской битвы изображен в то время, когда его ранили. Красноречивый рескрипт ему, написанный по этому случаю, подтвердил голос народа.

В статье г. Погодина сказано:

«Реляция об этом сражении была написана Ермоловым; относя весь успех дела непоколебимому мужеству войск и распорядительности графа Остермана, он почти умолчал о себе. Остерман, прочитав ее, невзирая на свои страдания, написал весьма некрасиво (потеряв руку, он всегда неразборчиво писал и впоследствии) следующую записку: „Довольно не могу возблагодарить ваше превосходительство, находя лишь только, что вы мало упомянули об Ермолове, которому я всегда справедливость отдавать привычен“.»

В другом месте у г. Погодина:

«Когда флигель-адъютант князь Голицын привез графу Остерману св. Георгия 2-го класса, этот мужественный генерал (к чему тут мужественный? скорее в этом случае благородный, скромный) сказал ему: „Этот орден должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил ее с такою славой“».

Что ж эти свидетельства доказывают? Что оба, Остерман и Ермолов, были рыцари благородства и в этом случае вели между собою честное состязание. Впоследствии ярые поклонники Ермолова продолжали провозглашать его главным виновником победы, оставляя Остермана в тени, как человека «с недостаточными умственными способностями и сходявшего несколько раз с ума». Эти слухи, хотя не так ярко выставляемые, не могли не дойти до графа. Может быть, доброжелатели его, передавая их обиняками, вплетали в них и то, что сам Ермолов приписывал себе весь успех дела, чего, по известной его скромности, не могло быть. На стороне Алексея Петровича были популярность его в армии и в об-

ществе, его приятное обращение со всеми, горячая любовь преданных ему людей, острое слово и острое перо их. На стороне графа, никогда не привлекательного на словах и в обращении, разорвавшего все связи свои в России, ничего кроме его имени, начинавшего изглаживаться в памяти его соотечественников. Как бы то ни было, в одно время между обеими сторонами возбуждено было какое-то враждебное соперничество. Император Николай Павлович рассек было этот гордиев узел, пожаловав равно обоим, по случаю открытия кульмского памятника, орденом Андрея Первозванного. Графу привез его курьер на мызу (Могилевской губернии, Рогачевского уезда), где он в то время проживал, в стране колтуна, в глуши сосновых лесов, оглашаемых волчьей музыкой, и куда он прибыл к срочному времени отпуска из родины Галилея и страны лавров и померанцев. Вскоре, уехав снова в чужие края, он не имел случая во всю жизнь свою надеть этот орден. Граф был дружен с Остен-Сакеном<sup>(17)</sup>, который, приезжая в Петербург, всегда останавливался у него в доме, был дружен с Милорадовичем и Паскеви-

чем, но я никогда не видал у него Ермолова, никогда не слышал от него слова об Ермолове, ни хорошего, ни дурного, до следующего случая.

В двадцатом году Алексей Петрович был уже главнокомандующим на Кавказе; граф не командовал уже несколько месяцев гренадерским корпусом и жил в Петербурге. В это время последний получает от первого официальную бумагу, адресованную на имя «командира гренадерского корпуса, графа Остермана-Толстого». Граф, вообразив, что это какая-то насмешка, приказал мне написать на конце бумаги: «Генерал Ермолов должен знать, что граф Остерман не командует более гренадерским корпусом, и потому бумага возвращается ему назад». Когда я это написал, он выбрал в брелоках у своих часов антик с извивающимся на голове змеями и сказал мне: «Рожицу эту, рожицу-то припечатай ему: он... поймет». С такою печатью пошла бумага по назначению. Судя по последствиям, надо полагать, что Ермолов жаловался. Граф вскоре за тем уехал в чужие края, я вышел в отставку из Павловского гвардейского полка, в кото-

ром числился, но, дожидаясь обещанного мне места по учебному ведомству, проживал еще в Петербурге, как меня потребовали к дежурному генералу главного штаба А.А.З. Я явился.

— Вы были тогда-то адъютантом у графа Остермана-Толстого? — спросил он меня.

— Точно так, — отвечал я.

— Мне велено спросить, кто писал эти строки?

— Я писал их по приказанию моего начальника; в доказательство, что он их засвидетельствовал, вот и сделанный им знак.

— Более ничего, — сказал мне З., раскланиваясь со мною.

Тем дело это и кончилось, по крайней мере, для меня. В статье г. Погодина сказано, что граф просил русского священника в Женеве доставить ему портрет Ермолова. Вероятно, годы утомнили его недоброжелательство к Алексею Петровичу. У гроба вражда и соперничество исчезают, уступая место суду истории.

Кстати дополню характеристику графа.

Я находился при нем адъютантом, после кампаний 1812-1816 годов, несколько лет, до

самого отъезда его в чужие края. Как я попал к нему в эту должность, вместо того чтобы за служебный проступок (в котором, однако ж, не было никакого нарушения чести) подвергнуться строгому наказанию, вполне от него зависевшему, и пребывание мое с ним в Варшаве, в свите государя, при знаменитом открытии сейма Царства Польского, в 1818 году, опишу, если удастся, в особой статье. Я был неразлучным его спутником во всех его поездках по его поместьям, в лагерях, при инспекции полков, расположенных в Калужской и Тульской губерниях; я знал его в семейной жизни, в кругу его друзей и родных, при дворе, вел с ним переписку, когда он был в чужих краях, и вот что могу сказать о нем беспристрастно. Как начальник войска, он был строг, но строгость его заключалась только во взгляде, в двух, трех молниеносных словах, которых больше боялись, нежели распеканья иного начальника. Во все время командования им корпусом он никого из офицеров не сделал несчастным, хотя и были случаи карать. Всем, кто имел надобность в его покровительстве, не отказывал в нем; если кому

помогал, то делал это широкою рукой и вообще был щедр. Все у него было грандиозно: и дом в Петербурге, и прием императрицы Елисаветы Алексеевны в подмосковном Ильинском, и петербургские вечера его, которые удостоивали своим присутствием некоторые члены императорской фамилии. Мелочным интриганом никогда не был, кривыми путями не ходил и не любил тех, кто по ним ходит; никогда не выставлял своих заслуг и ничего не домогался для себя, лести терпеть не мог. Для стрел, откуда бы ни шли, смело выставлял грудь свою. О пище и здоровье солдат заботился, как отец. Когда стояли войска в лагере, он почти каждый день обходил их во время трапезы, всегда пробовал солдатскую пищу, и горе начальнику, у которого в полку находил ее скудною или нездоровою!

Помню, как однажды, при посещении кронпринцем шведским, отцом нынешнего короля, новгородских военных поселений, выставляли, в доказательство довольства поселенцев, в каждой избе, то жареную курицу, то жареного поросенка, и как один забавник, бывший при этой выставке, доказал, что все

это пуф, отрезав, несмотря на зоркий глаз Аракчеева, ухо у одного поросенка, который в том виде явился в другой избе. Никогда, ни для какого милостивого внимания, не решился бы граф на такую мистификацию; за то солдаты его корпуса не глазами, а желудком были сыты, и благословляли его за попечения о них. На каждом смотре полков во время объезда корпуса, сверх задушевного спасибо солдат получал от него по калачу и доброму стакану водки. Граф строго взыскивал за слишком жестокие телесные наказания. Слово слишком употребил я с намерением, потому что обыкновенные наказания розгами и палками не выходили из тогдашнего порядка вещей и не в одном русском войске. Был в одном полку 2-й гренадерской дивизии батальонный командир из немцев, который отличался неистовыми наклонностями к ним. Ему запрещено было совсем их употреблять. Что ж? Немец ухитрился изобрести другое наказание, он (поверят ли в наше время?) поил провинившихся или худо понимавших службу солдат табачным настоем. Не любя наущничества, которого и сам граф не терпел, я, одна-

ко ж, почел долгом довести об этом до сведения его. Как сон в руку, в этот же день, при объезде им лагеря, первое лицо, ему попавшееся, был гениальный изобретатель табачного наказания: он был дежурным по дивизии. Грянули громовые слова над его головой, и с того времени он навсегда расстался с палками и табачною настойкой. Когда мы отъезжали от него, он, ошеломленный, стоял все на одном месте, но успел бросить на меня враждебный взгляд. Впоследствии этот господин старался мстить мне на брате моем, служившем в его батальоне ротным командиром, но, вступив в борьбу с целым корпусом офицеров полка, изнемог в ней...

В лагере под Калугой каждый день обедали у графа человек до 50 штаб— и обер-офицеров из разных полков, бывали в импровизованной посреди рощицы зале и балы, к которым съезжались гости из Калуги и Москвы, и даже из Петербурга.

Граф свято чтит память людей, сделавших ему какое-либо добро. Указывая мне однажды на портрет, висевший у него в кабинете, он сказал: «Вот мой благодетель: он выручил

мою честь под Прейсиш-Эйлау». Это был портрет Мазовского, бывшего в этом деле командиром, кажется лейб-гвардии гренадерского полка, который, имея его в своем деле, исторг графа из среды неприятелей, готовых уже схватить его. Кучковскому, отрезывавшему ему под Кульмом руку, выдавал он пенсию, также некоторым незначительным лицам, которые чем-нибудь были полезны его дядям, графам Остерманам. Приезжая в свои рязанские деревни, он приглашал к себе мелкопоместных соседей, людей простых и незначительных, и обращался с ними, как добрый компаньяр. При воспоминании о матери своей у него нередко выступали слезы; с миниатюрным портретом ее, который носил на груди, он никогда не расставался. К дяде своему, Николаю Матвеевичу Толстому, питал глубокое уважение, хотя втихомолку посмеивался над оркестром его музыкантов, одетых в парадные кафтаны екатерининских времен, переходившие с плеч одного поколения на плечи другого, несмотря на рост и породство лиц, их носивших.

Николай Матвеевич, вышедши в отставку,

жил постоянно и безвыездно в селе Степановском, Бронницкого уезда. Только раз в течение нескольких десятков лет ездил в Москву за 60 верст, и то по случаю смерти сестры своей. Проезд его через Бронницы составил эпоху в этом городке, в котором долго еще потом говорили о золотой, полувековой карете генерала Толстого. Он был сосед по селу Авдотьиному и друг известного Новикова. Я помню еще старого слугу Новикова, жившего у него после смерти своего барина, о котором, между прочим, рассказывал, что в его спальне, у подножия кровати, на столе, лежали крест и человеческий череп. О фармазонских чудесах Новикова, еще лет пятнадцать тому назад, ходили в Бронницком уезде диковинные рассказы.

Николая Матвеевича, несмотря на его скопидомство, уважали в околотке за прямоту и благородство его характера. Сельский дом его, за сооружение которого не заплачено было архитектору ни копейки, представлял амальгаму разных пристроек. Когда, с течением времени, нужно было, смотря по хозяйственным или семейным потребностям, расширять

его, тогда приставлялись к дому, то там, то тут, как грибные наросты, срубы и связывались с капитальной стеной железными связями.

У него были огромные плодовые сады, ни одного увеселительного; все для выгод — ничего для удовольствия. Впрочем, в этих выгодах наши деды и находили удовольствие, а гулять, говорили они, можно и в плодовитом саду, и в роще, среди села. Здесь они потешали свой слух пением грачей, которых берегли, как святую птицу. В день приезда племянника графа и в день ангела хозяина, за обеденным столом раздавались увертюры и симфонии из старинных опер, порядочно разыгрываемые; за стулом каждого гостя стояло по слуге. А в будни, в праздное время, а его было много у них, артисты и прислуга занимались вязанием шерстяных чулок и перчаток. От продажи этого изделия в свою пользу, они наслаждались жизнью своею и своих семейств лакомым куском и умеренными по-своему прихотями. В упомянутые торжественные дни подавали к столу гигантские индейки, откормленные на славу, и в рюмочках, немного

побольше наперстка, венгерское вино, стоявшее в подвале несколько десятков лет, и диковинные наливки. Самовары при Екатерине не были еще в общем употреблении; чай делали в металлических чайниках, в которых кипятили его на спиртовых жаровеньках (вопреки автору «Таинственного монаха» Р.М.Зотову[10], начинающему свой исторический роман из времен Петра I чаепитием за самоваром). И у Николая Матвеевича приготавливали чай по старине. Чтобы не раздроблять общинных земель и не отрезывать от своих господских, Николай Матвеевич редко разрешал крестьянам свадьбы, с которыми неминуемо сопряжены были наложение нового тягла и отрезка земли. Кажется, он делал это только в селе Степановском. Последствия такого экономического порядка а la Мальтус были очень пагубны для нравственности крестьян. Нередко в генеральских прудах находили мертвых, брошенных туда, незаконнорожденных детей. Впрочем, крестьяне его были довольно зажиточны, дворовые, когда он умер, искренно его оплакивали. По смерти Николая Матвеевича, мне поручен был, вместе с гене-

ралом Сорочинским, раздел его имения между наследниками, и чего ни нашел я в маленькой кладовой его, подле гостиной — и мотки ниток, и пуговицы, и гвозди разного размера, едва ли не подковы, и всякую мелочь, которую хранил он для хозяйственных потребностей и сам выдавал. Так-то наши старинные помещики составляли себе большие состояния. И этот дядюшка дал в приданое своей воспитаннице около ста тысяч наличными и оставил после себя своим племянникам 1200 незаложенных душ.

Возвратимся от дяди к племяннику, графу Александру Ивановичу.

Против суровостей русских непогод граф, казалось, закалил себя; нередко в одном мундире, в сильные морозы, делал смотр полкам. Это была железная натура и телом, и душою. В пище он был чрезвычайно умерен; за столом только изредка бокал шампанского. Изысканных блюд, особенно пирожных, не терпел. Любил крутую гречневую кашу до того, что, живя в Италии, выписывал по почте крупу из России.

Однажды во время объезда корпуса, после

полкового смотра на сильном морозе, возвращаясь к себе в квартиру и выпив только чашку чаю, он отправился снова в путь. Между тем обеденный стол был сервирован, мы слышали уже запах яств, которыми думал угостить нас на славу полковой командир Болховской, большой gourmet<sup>(18)</sup> и знаток кулинарного дела. Я с корпусным доктором, сопровождавшим вместе со мною графа, только полакомились обонянием этих кушаньев. Уж и досталось от нас вслед ему довольно проклятий! На первой невзрачной станции он спросил нас, хотим ли мы есть, и на утвердительный ответ велел подать гречневой каши. Обильно полив ее зеленым конопляным маслом, он усердно принялся ее уничтожать, я с голоду пропустил в желудок несколько ложек, доктор отказался. Зато мы решились отплатить ему по-своему. На дороге были страшные заборы, снег, мокрыми хлопьями, слепил глаза, стемнело. Военные тогдашнего времени не знали, что такое шуба, а потому мы с пустым желудком продрогнули порядочно. Для исполнения задуманного нами мщения, велено нами ямщику понемногу отставать от передо-

вых саней (всегда открытых, во всякую непогоду), в которых сидел граф с слугою и жандармом. Вскоре мы потеряли его из виду. В стороне, в полуверсте от большой дороги, блеснул огонь из большого господского дома. Повернуть к нему, войти, предъявить хозяину свои высокие титулы адъютанта и доктора графа Остермана и попросить его укрыть нас под своим кровом по случаю наступающей волчьей ночи и худых дорог, было делом нескольких минут. Гостеприимный помещик, вероятно, богатый, судя по обстановке дома, был очень рад гостям, упавшим к нему с неба, и доказал это, как самый радушный амфитрион. Нас напоили благоуханным чаем, угостили отличным ужином и уложили спать в теплой комнате, на пуховиках, в которых мы уютно устроились, посмеиваясь в ус всем эгоистам, любителям гречневой каши и путешествий во время зажор. Так, конечно, не нежилась сама Сарданапал. Я забыл сказать, что хозяйские дочери, очень милостивые и хорошо воспитанные, усладили для нас вечер приятною музыкой и приятной беседой. Между тем граф, приехав в первый город (это было в Тульской

губернии), где должен был делать смотр полку, беспокоясь о нас, разослал гонцов нас отыскивать и подать нам помощь в случае, если бы мы где-нибудь застряли. Разумеется, нас не нашли. Утром мы явились к нему и сыграли мастерски роль пострадавших мучеников. Он с сожалением слушал наш рассказ, как мы провозились всю ночь в глубокой зажоре, из которой будто вытащили нас крестьяне ближайшей к месту нашей гибели деревни, куда мы посылали ямщика. Нас велено поскорее обтереть вином и подать нам чаю с ромом.

Граф любил русскую литературу, по тогдашнему времени, державинскую, карамзинскую и озеровскую. Как-то ему в Петербурге расхвалили «Федру» Лобанова, которую Пушкин называл Федорой; меня заставили прочесть в присутствии графини отрывки, сначала из подлинника, а потом из перевода. «Отчего, — спросила меня графиня, — у Расина выходит все так гармонично, так хорошо, а по-русски так тяжело, грубо и скучно? Видно, русский язык неспособен передать красоты французской поэзии». — «Тут виноват не рус-

ский язык, который не беднее, если не богаче и гармоничней французского, — отвечал я, — а недостаток таланта и дубоватость переводчика. Впрочем, наш язык сделался живым русским языком, и то литературным, со времен Карамзина, а в обществах он до сих пор остается мертвым».

В числе адъютантов графа был подполковник Свечин, автор знаменитой «Александрюды», которую он, для вящего вдохновения, писал на саженной аспидной доске, и которую в тогдашних московских обществах читали, как некогда «Телемахиду». Граф, когда хотел подремать, убаюкивался ее стихами, читаемыми ему самим автором.

С глубокою признательностью вспоминаю добрые, отеческие отношения ко мне графа. Когда я бывал нездоров, он посещал меня на моей квартире. Раз в Калуге, наскучив разводами на морозе, я сказался больным. Ко мне пришел товарищ, по-тогдашнему свитский офицер, по-нынешнему генерального штаба, Вельяминов-Зернов, прекрасно образовавшийся в школе Муравьева и много обещавший (убит в 1829 году в сражении против ту-

рок<sup>(19)</sup>). Мы прочли с ним несколько страниц из Парни[11]. Пришел другой товарищ; с этим мы стали перекидывать в банк. Целые колонны цифр были исписаны по зеленому столу, как говорится, на мелок. Вдруг в это самое время входит граф. Можно судить о моем смущении. Он ничего тут не сказал, только посмотрел на нас с неудовольствием и вышел. Но с того времени долго не давал мне покоя своими расспросами, не пристрастен ли я к картам, и, когда мы с ним находились вдвоем, убеждал меня, как добрый отец, не играть более. В душе этого сурового по наружности человека звучали нередко нежные струны. Живя, после смерти жены своей, в Пизе или Флоренции, он страстно полюбил красавицу италианку. Детей он также нежно любил... Боясь со временем, на старости лет, сделаться ревнивым, он пожертвовал своею горячею к ней привязанностью и выдал ее с богатым приданым за молодого, красивого соотечественника ее. Детям он дал хорошее воспитание и обеспечил их будущность. Правда, для удовлетворения этих потребностей срезали вековые подмосковные леса, которые так бе-

регли старики, графы Остерманы, не думая, чтоб они ушли в Италию.

Не скрою, что граф Александр Иванович имел большие странности. Некоторые его эксцентричности, разглашаемые, как водится, с прибавлениями, доходили до Петербурга, где остряк Нарышкин умел передавать их в самом смешном виде. Он держал в своей лагерной палатке огромного белого орла и белого ворона и любил иметь у себя во дворе, когда жил в Калуге, медведей. Двум хирургам отрезали по сустав передние лапы, в которых заключается главная их сила. Им сделана была фантастическая одежда. Но разве Байрон в Венеции не имел около себя целого зверинца с обезьянами, кошками, собаками, лисицей, ястребами и коршунами? Правда, Байрон не делал хирургических операций своим четверногим любимцам<sup>{20}</sup>. Граф, живя в Италии, выписал туда из своей подмосковной, чтобы ходить за детьми, кривого бурмистра Егора, имевшего медаль за победу в 12 году над французскими мародерами. Русский мужичок и тут нашелся. Выдержав успешно двухгодовалый искуc в Авзонии, он возвратился

на родину с богатым награждением и зарылся опять в свой овчинный тулуп. Вероятно, эти эксцентричности дали повод Давыдову приписать их сумасшествию. Надо, однако ж, пояснить, что они появились гораздо после наполеоновских войн, да и то сказать, если копнуть поглубже в домашнюю жизнь иного знаменитого человека, то и не такие проделки в ней найдутся... По крайней мере в эксцентричности графа не было ничего грязного, бесчестного...

Великий князь Михаил Павлович очень любил его и знал об некоторых его странностях. Когда я имел честь, за отсутствием губернатора, в 1844 году принимать его высочество в Твери, куда он приезжал для осмотра 7 кавалерийской дивизии, он за обедом, разговорившись о графе, спросил меня: «а что случилось с медведями его?» Ободренный особенно милостивым ко мне вниманием великого князя во все пребывание его в Твери, я рассказал ему следующий случай по поводу этих медведей.

Остерман, живя в Петербурге, получил два письма, одно от дамы, которую он называл

своим другом, с известием о смерти ее мужа, другое от любимого им командира таврического гренадерского полка, с известием о смерти медведя, отданного ему графом на попечение.

Граф продиктовал мне тотчас своим лаконическим языком ответы, начинавшиеся словами: «любезный друг», без означения имени и отчества, подписал, и, передав мне эти имена и отчества для написания в адресах, велел мне запечатать письма и отослал куда следовало. Я ж, по рассеянности, адресовал письмо с сожалением о смерти мужа к командиру полка. Приятельница графа промолчала, но полковой командир возвратил письмо, которое, как он писал, вероятно, прислано к нему по ошибке.

— Что ж граф? — спросил меня великий князь.

— Ничего, ваше высочество, — отвечал я, — только очень хладнокровно дал мне прочесть письмо, обличавшее мою вину.

Но я по-стариковски опять заболтался о старине; пожалуй, так рассказням моим не будет и конца. Начав за здоровье, кончим же

за упокой. Помянем и благоговением имена двух богатырей великой для России эпохи, и поблагодарим М.П.Погодина, что он сохранил потомству драгоценные памятники служения отечеству одного из них.

*18 марта 1864.*

# Примечания

*В «Русском вестнике» помещен ряд статей М.П.Погодина... — См.: Русский вестник. 1863. № 8-12; 1864. № 5.*

Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк и публицист, издатель «Московского вестника» (1820-е гг.) и «Москвитянина» (1840-1850-е гг.).

[^^^]

*...собственные записки Ермолова...* — Имеются в виду «Записки Алексея Петровича Ермолова». М., 1863.

[^^^]

Полуектов Борис Владимирович (1778-1843) — генерал от инфантерии, участник антинаполеоновских войн начала века, с 1813 г. командир Московского гренадерского полка.

[^^^]

# 4

*...пало на голову великого полководца... — т.е. Барклая де Толли.*

[^^^]

Платов Матвей Иванович (1751-1818) — прославленный кавалерийский генерал, герой 1812 года.

[^^^]

## 6

Фигнер Александр Самойлович (1787-1813),  
Сеславин Александр Никитич (1790-1858) —  
прославленные командиры армейских парти-  
занских отрядов.

[^^^]

Воронцов Михаил Семенович (1782-1856) — генерал-фельдмаршал, с 1823 г. — новороссийский генерал-губернатор, в 1844-1853 гг. главнокомандующий войсками на Кавказе. В 1812 г., будучи на излечении в своем имении, пригласил туда 50 раненых офицеров и более 300 рядовых, которых лечил и содержал на свой счет.

[^^^]

Бернадот, Жан Батист (1763-1844) маршал Франции, с 1818 г. — король Швеции и Норвегии. С 1813 г. участвовал в войне против Наполеона.

[^^^]

Канкрин Егор Францевич (1774-1845) — писатель и государственный деятель, министр финансов (1823-1844).

[^^^]

Зотов Рафаил Михайлович (1795-1871) — романист и драматург. «Таинственный монах» — исторический роман из эпохи Петра I.

[^^^]

Парни Эварист-Дезире (1753-1814) — французский поэт-элегик.

[^^^]

# Комментарии

Здесь взят в плен генерал-майор Константин Маркович Полторацкий. В изданной им брошюре он описал разговор свой с Наполеоном и свой плен.

*Полторацкий Константин Маркович (умер в 1858 г.) — генерал-майор, впоследствии губернатор Ярославля.*

[^^^]

## 2

Моя бедная жена, мои бедные дети! (*фр.*)

[^^^]

Мой командир (*фр.*).

[^^^]

Ермолов (*фр.*).

[^^^]

# 5

Моего маленького соплячка (*фр.*).

[^^^]

# 6

Их превосходительств (*фр.*).

[^^^]

Корсиканец (*фр.*).

[^^^]

# 8

да здравствуют русские дамы! (*фр.*)

[^^^]

Впоследствии министр Карла X.

[^^^]

Витебск замечателен особенно своим, так называемым дворцом. Во время похода 1812 года в нем квартировал Наполеон и с балкона его делал смотр своей гвардии, дефилировавшей перед ним на площадке, довольно безобразной. В этом доме скончался великий князь Константин Павлович. Окрестности полны воспоминаний славной эпохи.

[^^^]

Коновницын говорит о ней (стр. 108 «История Отечественной войны» Богдановича).

*Коновницын Петр Петрович (1766-1822) — генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года, с 1815 г. — военный министр.*

*Богданович Модест Иванович (1805-1882) — генерал-лейтенант, военный историограф и теоретик, автор «Истории Отечественной войны 1812 года» в 3 томах.*

[^^^]

Собор Парижской Богоматери (*фр.*).

[^^^]

# 13

Сгорели в 12 году во время нашествия неприятеля, ныне дом семинарии.

[^^^]

Я имел счастливый случай видеть ее в 1814 году в Веймаре, за обедом у великой княгини Марии Павловны, и в то же время великого Гете. Образ их доселе запечатлелся в моей памяти. Тут же был тогда и герой кульмский, граф Остерман-Толстой.

[^^^]

Впрочем, в записках Ермолова не совсем так переданы побуждения его к подаче этого мнения, и если объяснения Алексея Петровича не оправдывают его, то, по крайней мере, облегчают вину, в которой он, однако ж, сам имел твердость признаться.

[^^^]

— Это вы, ваше величество? Мой господин император в безопасности? (*фр.*)

[^^^]

Впоследствии граф и фельдмаршал.

[^^^]

Гурман (любитель поесть) (фр.).

[^^^]

Сестре его Аниусье Федоровне Мерзляков по-  
святил многие из своих стихотворений.

*Мерзляков Алексей Федорович (1778-  
1830) — поэт и критик, автор знаменитой  
песни «Среди долины ровныя...»*

[^^^]

Делаю следующую заметку для естествоиспытателей. Одна медведица в зверинце графа жила с двумя медвежатами. Игры их были потешны. Но как последние становились злы и опасны, то их разлучили с матерью. Жалко было видеть, как она с ними расставалась и провожала их со двора, жалобные завывания ее, которым недоставало только слов, хватали за сердце, точно рыдала мать-женщина, разлучаясь навсегда с своими детьми.

[^^^]